

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. *Концы усов у них висели как плети*  
(Кругом одно горе, и все мы в нем точно рыба  
в воде.) (с. 9)
2. *Итак, первые века они жили в Синайской пустыне*  
(Ударь палкой по кусту — вырастет цветок.) (с. 33)
3. *Однажды ночью императрице Феодоре приснилось,  
что к ней в опочивальню слетаются ангелы*  
(Громы и молнии сплошь исхлестали и землю,  
и воду.) (с. 54)
4. *Неизвестно, какой из двух монашеских укладов пред-  
почитал греческий, дославянский Хилендар*  
(Эгейское море спокойно только по воскресным дням  
и по праздникам.) (с. 65)
5. *Хилендарские одиночки, по прозванию идиоритмики*  
(На небе царило созвездие Гончих Псов.) (с. 83)
6. *Хилендарские общинники, по прозванию кенобиты*  
(Была восточная пятница, когда негоже завершать  
дела.) (с. 99)

*Концы усов у них висели как плети. Поколение за поколением жили они без единой улыбки, и годы помечали морщинами лишь верхнюю часть их лиц, и старели они не от удовольствий, а от мыслей.*

*Говорят, иудеи прозвали их эдомеями. Сами же себя они называли — «соль». Много времени пройдет, пока человек съест горстку соли, — вот что они имели в виду. Эдомеи отличались терпением. У них было два знака — знак Агнца и знак Рыбы. Агнцу посвящались пироги, замешенные на слезах, а Рыбе — обручальные кольца из теста (Рыба — невеста души).*

*Разделение это случилось не вдруг. Четыре или пять колен прошло, пока один из них сказал: «Ничего нет на свете лучше говорящего дерева. Ведь дерево дает плоды обоего пола. По ним можно отличить тишину от молчания. Ибо человек, чье сердце полно молчания, совсем не таков, как тот, чье сердце исполнено тишины...»*

*Антиохиец, сказавший эту фразу, едва успев ее произнести, без страха и ненависти принял смерть от зубов хищного зверя, как и его соплеменник Игнатий, в Риме в 107 году нашей эры.*

*Разглядывающий пшеничное зерно не видит скрытого в нем знака, а обозначено там, какой из зерна выйдет колос, сколько принесет новых зерен, а сколько плевел. Так же точно и во фразе антиохийца нельзя было ничего заранее вычитать, но сказано было все.*

*Эдомеи существовали в постоянном страхе. Спасение от него приносил лишь краткий сон, если он их посещал.*

Но и во сне их преследовали чудовища с пятнистыми мордами и пупками вместо глаз. Подобно тому как утопленник стремится выброситься на сушу, несчастные пытались вернуться к реальности, но то и дело налетавшие волны упорно вращали их все в том же водовороте. Только их тела, гонимые от одного наваждения к другому, из реальности в сон и из сна в реальность, связывали эти два кошмара. Они словно передавали послания в двух направлениях, не сознавая, что сны — впрочем, как и эдикты императоров Септимия Севера, Максима Фракийского и Валерия — неумолимо гонят их под сень дерева, о котором говорил антиохиец. Эдомеи бежали в пустыни, дабы не быть прибитыми к кресту или к крыльям ветряной мельницы, брошенными на растерзание диким зверям; они скрывались, чтобы не разбивать головы о крепкие двери темницы, не отдавать свои пальцы, уши и глаза на съедение хищным рыбам в водоемах.

Рассыпавшись по бездорожью в Сирии, Месопотамии и в Египте, согреваясь по ночам собственными длинными волосами, пропущенными под мышки и завязанными узлом на груди, эдомеи прятались под пирамидами, укрывались в могилах и среди развалин древних крепостей. Добредали они и до гор Верхней Тебаиды, что стоят между берегом Нила и Красным морем, где обитают двоякодышащие рыбы — охотники на птиц. Им случалось говорить по-коптски и по-еврейски, по-гречески и на латыни, по-грузински и по-сирийски или же молчать на всех этих языках. Бессознательно, но неуклонно, подобно ростку в пшеничном зерне, продвигались они по направлению к дереву из упомянутой фразы. Наконец они добрались до Синая. И тут только им открылось значение слов:

«Чье сердце полно молчания, совсем не таков, как тот, чье сердце исполнено тишины...»

Лишь только первый житель пустыни присел в собственной тени и вкусил первой росы, эдомеи разделились по признакам Рыбы и Агнца. Отныне и до века стали они делиться на две касты. На тех, кто ближе к Солнцу, и на

*тех, кто ближе к Воде, на тех, кто следует за Агницем, и тех, кто следует за Рыбой, на тех, в чьем сердце властвует тишина, и тех, в чьем сердце царит молчание...*

*Здесь же, на Синае, первые объединились в братства и начали жить сообща. Этим, согласно греческому «коинос биос» (общая жизнь), стали называть кенобитами, или общинниками. Вторые, те, что предпочли знак Рыбы, называли себя идиоритмиками, или одиночками. У каждого из них была своя крыша над головой, собственный образ жизни и ритм существования. Отделенный от прочих, всякий из них проводил свои дни в полном одиночестве, унылом, ничем не нарушаемом. Две породы — общинников и одиночек — отбрасывали длинные тени через пространство и время. Ибо нет резкой грани между прошлым, которое растет, поглощая настоящее, и будущим, которое, судя по всему, отнюдь не является неисчерпаемым и непрерывным, но с какого-то мгновения начинает уменьшаться и проявляться импульсами.*

*Идиоритмик, отправляясь в дорогу, прятал под шапкой свою миску, во рту — чужой язык, а за поясом — серп: так поступают одинокие путники. Кенобиты, напротив, несли по очереди кто котел для пищи, кто общий язык за зубами, а кто и нож за поясом: так делают те, кто путешествовать не один.*

*Путешествия эти происходили скорее во времени, чем в пространстве. Плутая во времени, одиночки тащили с собой камень молчания, общинники же волокли камень тишины. Камни передвигались каждый сам по себе, поэтому молчание одних не было слышно в тишине других.*

Ведь каждый идиоритмик молчит сам по себе, а кенобиты хранят свою общую тишину. Одинокие люди возделывают молчание, словно пшеничное поле: вспахивают, открывают его пространство, углубляют борозды, поливают, чтобы зерна взошли, чтобы колосья вытянулись как можно выше, ибо только молчанием можно достичь Бога, но не криком, хоть ты надорвись

кричамши... Напротив того, общинники не направляют лелеемую ими тишину навстречу Богу, но воздвигают ее, точно плотину, перед той частью мира, которая им не принадлежит и которой они хотят завладеть; они ограждают себя тишиною, защищаются ею или же насылают тишину на свою добычу, как охотничью собаку. Помня при этом, что охотничьи собаки бывают и хорошие, и плохие...

«Кругом одно горе, и все мы в нем точно рыба в воде», — думал неудавшийся архитектор Афанасий Свиляр, ощущая сорок пятый год своей жизни, как запах чужого пота.

С 1950-го по 1956 год он учился в Белграде на архитектурном факультете. Тогда-то он и выяснил, что верхняя губа дана для одного, а нижняя для другого: верхняя чувствует горячее, а нижняя — кислое. Он слушал математику у профессора Радивое Кашанина и ходил в вязаной шапочке со свистком на затылке; одновременно он посещал лекции профессора Маринковича по бетону и научился безошибочно определять женщин, которые к ужину предпочитают усы. Многим запомнилась защита его диплома, шумная и необычная, расколовшая факультет на сторонников и противников Афанасия Свиляра. Еще студентом он заметил одну неотразимую черту великих писателей: умение молчать о некоторых важных вещах. И Свиляр применил это в своей профессии: неиспользованное пространство, равное ненаписанному слову в литературном произведении, у него приобрело свою форму, а пустоты получили очертания и смысл, столь же активные и действенные, как и застроенные площади.

Прелесть пустот вдохновляла его на создание красивых построек, и это накладывало отпечаток на все его проекты. Увлеченный теорией групп, механикой сплошных сред и особенно акустикой замкнутого пространства, он стал, по мнению компетентных лиц,



просто блестящим специалистом своего дела. Известно было, что со Свиларом шутки плохи: понадобится, так пройдет по воде и огонь во рту пронесет. Особенно были замечены его проекты благоустройства прибрежной полосы Белграда, основанные на предпосылке, что река как среда обитания всегда древнее, чем возникший рядом с ней город. В его постройках окна открывались как бойницы — в направлении от цели к глазу, а не наоборот — от дома куда попало, как это обычно делается. Он полагал, что юмор в архитектуре так же необходим, как соль на хлебе, что нужно строить по одной двери на каждое время года, а полы настилать дневные и ночные, ибо по ночам звук распространяется вниз гораздо скорее, чем вверх; что крышу выводить надо не только по Солнцу, но и по лунному свету, ибо хороша только та крыша, под которой яйцо не протухнет. Волосы у Свилара были как сено, а сон — скорый и такой крепкий, что хоть стакан об него разбивай. Левый глаз его старел быстрее правого, и ему пришлось завести очки, чтобы закончить проект отеля для холостяков и набросок картинной галереи, которая хоть и была объявлена на конкурсе самым экономным решением, тем не менее никогда не была построена.

Действительно, проекты Свилара как-то не шли. Год за годом они пылились в его квартире, свернутые в трубку и сваленные в стенные шкафы или зажатые между двойными дверями. Сын Свилара называл их «зданиями, которые не отбрасывают тени».

«Он проектирует и рассчитывает на этом свете, а дома строятся уже на том», — злословили его сверстники, чьи ямочки на щеках постепенно сменялись морщинами. «Я-то знаю, что у меня слов в запасе больше, чем овец в загоне, — подшучивал и сам Свилар, — не могу только понять, почему я никому не нужен...»

Но, по правде говоря, ему было совсем не до шуток. Несмотря на безусловно высокую профессиональную репутацию, колоссальную работоспособность, которая словно слизывала его одежду и волосы, Афанасию никак не удавалось найти постоянную работу по специальности. А между тем капли времени не стряхнешь с лица рукавом, это ведь не капли дождя. Они остаются навсегда.

Точно так же нет человека, у которого слезы стоят только в одном глазу.

Что касается Свиlara, то было неоспоримо еще одно. А именно то, что очень рано, едва только у него на лице вырос грубый мужской рот, такой широченный, что Афанасий мог поймать им собственную слезу, он заполучил сенную лихорадку. С тех пор она на него нападала каждую весну. Мучась сенной лихорадкой каждый год, начиная с мая месяца, Свилар забыл цветочные запахи, но ароматы цветов и трав из его по-та пробивались по ночам с такой силой, что не давали домашним спать.

Человек давно уже женатый, за двадцать лет вполне зрелого возраста он так и не научился жить на доходы от архитектуры. Правда, он преподавал в строительном училище, но это было вроде разговоров в пользу голодающих. Все свободное время он по-прежнему посвящал своим проектам. Днем застенчивый и разборчивый в еде, ночью он становился прожорливым, красноречивым и работоспособным до того, что ремень у него на спине прорастал плесенью. Если запотевали очки, он их просто облизывал, не отрываясь от работы.

Проходили годы. Он чувствовал, как меняется вкус его собственной слюны, понимая, что некоторые вина пробует последний раз в жизни. Он продолжал работать, ничего не видя и не слыша, но по-прежнему оставался на обочине своей профессии, отчего начал ста-

реть с каждым новым ударом, как часы. Дважды в жизни, на двадцать четвертом году и на сорок втором, он выполнял обширные проекты — целые кварталы, но их никак не удавалось перенести с ватмана и воплотить в реальность.

Долгими летними ночами, доливая вино в воду (потому что лить воду в вино — грех), Свилар размышлял о прошедшей жизни и чаще всего задавал себе два вопроса: почему его всю жизнь преследует сенная лихорадка, от которой кажется, что чай отдает потом, и почему ему никак не удастся взять быка за рога в своей работе архитектора — работе, для которой он был создан. Точно правая рука в самом деле грешна и не ведает, что творит левая.

Однажды весной, в один из тех дней, что февраль занимает у марта, он наконец решил разыскать своего старого школьного товарища Обрена Опсеницу.

«Возможно, каждый человек в этом городе может что-то ответить на вопрос другого человека», — думал Свилар. Что, если для него этот человек-ответ — Обрен Опсеница? Он нашел его в одном ведомстве, распределявшем средства на строительство Белграда. На Опсенице был галстук с двойным узлом, его белые волосы на концах загибались, как удочки; улыбаясь, он зажмуривал глаза. Свилар помнил, что в школе Опсеница имел обыкновение неожиданно повернуться к собеседнику спиной, а затем, вдруг извернувшись, ловко и сильно его ударить. Он был из тех, кто ест ножом, обходясь без вилки; такому ничего не стоит языком помять косточки в вишнях, окажись они у него во рту. В отличие от прочих людей, которые по большей части думали о том, что им нравится, он постоянно держал в уме то, что ему не нравилось. Благодаря этой своей особенности, он всплыл на поверхность и оказался в рядах высшей городской администрации. Не нравились ему в первую очередь его ровесники. Подобно



тому как некоторые люди одарены более других силой, быстротой или слухом, Опсеница был наделен сверхъестественной способностью питать и взращивать неприязнь к людям, при этом совершенно лишённую враждебных чувств. Эта-то неприязнь и направлялась на его ровесников, главным образом на тех, кто, обладая той же профессией, превосходил его способностями или профессиональными данными. Эту неприязнь (бывшую, как говорили, причиной его кашля) Опсеница никогда открыто не проявлял, хотя и вкладывал в нее львиную долю своей энергии и своего рабочего времени. Если неприязнь к кому-либо вдруг становилась явной, она тут же иссякала раз и навсегда. Тем упорнее и искуснее он скрывал свою неприязнь и, только убедившись, что это удалось, давал ей волю. Человек, павший жертвой его тайного, но интенсивного и непрерывного воздействия, становился чем-то вроде больного, подверженного постоянной инфекции, от которой он не в силах защищаться, не зная ее источника.

«На кого Опсеница косо смотрит — у того все из рук валится», — говорили в кругах специалистов. С таким-то школьным товарищем и встретился Свиляр в одно прекрасное утро, когда ветер поедал дождь. Здороваясь с Опсеницей, Свиляр чихнул, они пожали друг другу руки и уселись за стеклянный стол. Афанасий передал приятелю свои последние проекты, прося обратить на них внимание при следующем конкурсе. Опсеница облизнул ногти, внимательно просмотрел принесенное Свиляром и как бы поддался на его уговоры, однако с тех пор Свиляр ничего не слышал ни об Опсенице, ни о своих проектах. В сущности, эти двое — один, бесспорно, что признавал и Опсеница, великолепный специалист в своей области, не умевший найти денег для осуществления своих планов, и другой, не имевший крепкой профессиональной репутации,

но пользовавшийся большим влиянием на распределение средств, — должны были бы объединиться и достичь превосходных результатов. Между тем происходило нечто прямо противоположное. Свиляр пришел к странному заключению. Он испытал на себе силу легендарного недоброжелательства Опсеницы. Но присутствовавший в нем оттенок личной неприязни словно исходил от кого-то другого. Подобно яду, заключенному во флакон, эта неприязнь лишь доходила до своей цели через Опсеницу, настигая и Свиляра, и всех прочих, кому Опсеница ставил палки в колеса.

От таких мыслей однажды утром за завтраком у Свиляра молоко свернулось прямо во рту, и он понял, что его призвание, его работа архитектора, выполняемая в нерабочее время, остающаяся только на бумаге, работа, осужденная заполнять лишь его досуг, превратилась в порок. Устыдившись своих чертежных принадлежностей и линеек, он с тех пор перестал притрагиваться руками к хлебу. Он стал есть хлеб из тарелки, с помощью вилки и ножа... Он начал забывать имена и не любил, когда при нем их часто упоминали. Он опасался, что заблудится в именах, как в лесу. Боялся, как бы не забыть и свое собственное имя, а то придется каждый раз, когда надо подписаться, останавливаться и припоминать, как тебя зовут...

Его преследовало одно воспоминание. Однажды в детстве, будучи с отцом в винограднике, он спросил, почему они перестали охлаждать арбузы в колодеце.

— Колодец обвалился, — ответил ему отец, — ведь и колодцы, как и все живое, отживают свой век, а вода, как человек, может состариться и умереть. Здесь вода мертвая, надо копать новый колодец...

Теперь Свиляру часто вспоминалась эта вода. Ему казалось, что он уже никогда не сможет перевести свои расчеты на твердую почву, тем более возвести здание. Он словно строил на воде. По утрам ему стало чудить-

ся, что его улица не на том перекрестке, и он старался спать, касаясь рукой пола, точно желая из постели бросить якорь до самой земли. А проснувшись, он каждый раз заново ориентировался в кровати, как корабль, который ночная буря сбила с курса, соображая, в какую сторону света ему вставать. Страшась таких ночей, уносивших его неведомо куда, он стал отказываться от сна, что переносил довольно легко. Ночами он скитался по городу. Лицо у него стало бледным и прозрачным, родинки проступили под желтой кожей, как букашки, застывшие в янтаре. В немолодые уже годы, когда стало ясно, что вопрос не в том, как преуспеть, а в том, почему ему не удалось заняться своим делом, он не только отвернулся от дня, повернувшись к ночи, но и отвернулся от своего дома и обратился лицом к городу, в котором жил.

Вначале его ночные прогулки не имели никакой определенной цели. Он только замечал, что, бродя по улицам, следует правилам движения транспорта. Точно находясь в машине, он не сворачивал там, где был запрещен поворот, и обходил улицы, закрытые для проезда автомобилей. Ему иногда снились эти прогулки, и, высовывая при пробуждении из сна в реальность помятый язык со следами зубов, он понял, что все белградские улицы в его снах были улицами с односторонним движением. Желая развлечься, он придумал себе занятие почти неприличное, но зато придавшее новый смысл его походам.

Складывалось так, что, следуя скорее ночным звукам, чем направлению улиц, он несколько раз попал в давно забытые места, где еще юношей встречался с женщинами. Он заметил, что не может заранее определить эти места и вспомнить их наперед, но они возникают как бы сами собой и он набредает на них невольно.

Вот вход на освещенную лестницу, ведущую вверх, в темноту. Вот скамейка, прикрепленная к дереву цепью. Вот забор, и в нем неожиданно возникающая дверца окошечка. Он обычно быстро узнавал места. Значительно труднее было вспомнить женщин, с которыми он бывал в этих местах. И вот Свиляр пустился в розыски сладостных заметок своей молодости. Он блуждал по старым белградским домам, которые Дунай, когда вода в нем стоит высоко, заливает, швыряя бочки о двери подвалов и вынося из них то всяческие замки, то куски ограды, точно там внутри кто-то сидит взаперти. Иногда он распознавал в домах так называемые «собачьи окна» — окна, обращенные на восток, которые редко кто умеет распознать, а еще реже открыть в постройках. Через эти «собачьи окна» по праздникам кормят собак, а на Илью Пророка выпускают погреться птиц. Он узнавал углы, на которых скрещиваются ветры, — замечал улицы, по которым весной дуют продольные ветры, а зимой им наперерез выходят поперечные. Милые воспоминания снова открывались перед ним, как те раковины, что раскрываются только в темноте.

Воспоминания возникали одно за другим, и он начал вносить в план Белграда особые значки на местах, узнанных им во время ночных бдений, записывая рядом и имена женщин, которыми он обладал в этих местах. Их слова и поступки снова возникали перед ним вслед за этими воспоминаниями, и теперь они стали значить больше, чем когда-то.

— Прошлое лучше видится ночью, чем днем, — шептал про себя Афанасий Свиляр. Он пришел к заключению, что все половые акты во вселенной как-то связаны между собой и даже находятся в некоем взаимодействии. У него появилась надежда, что в посланиях женщин, с которыми он когда-то был близок, он



найдет что-то вроде уравнения собственной личности, ответ на вопрос, мучивший его не меньше сенной лихорадки: почему его жизнь прошла впустую, зазря, несмотря на затраченные им огромные усилия?

И как ни странно, понемногу на плане города, на который он наложил карту своих любовных приключений, стало проявляться что-то похожее на ответ, на букву или цифру. Из тайных знаков, оставленных его семенем по периметру города, словно можно было сложить общий знаменатель всех черт его характера. Однажды вечером он наклонился над картой города и прочел это послание.



Обыкновенно в сумерки они приходили в полуразрушенный дом на Врачаре, от которого дожди всегда стекали в две реки сразу: в Дунай и в Саву. Он брал с собой бутылку вина и два стакана в кармане. Кончик ее косы всегда был мокрым: она любила сосать волосы. Они всегда прихватывали мгновение чистого неба, когда все птицы уже в гнездах, а летучие мыши еще не вылетели. Потом они входили в маленький стеклянный лифт. Там была складная плюшевая скамеечка, крошечная лиловая табуретка, зеркало на дверях и светильник в виде хрустального стакана. Здесь пахло одеколоном и жидкостью для наклеивания мушек. Они усаживались, ставили бутылку на пол, нажимали кнопку и пили вино, провожая глазами проносящиеся вверх-вниз опустевшие коридоры и целуясь через ее волосы. Словно катались в обитой бархатом карете. Вокруг них падали американские бомбы и горела улица Святого Саввы. По окончании налета они шли посмотреть на новый город. Каждый раз перед ними открывались все более широкие горизонты, потому что исчезали целые здания. Однажды по оставшейся на

стене картине и полке с книгами они узнали среди развалин, на четвертом этаже, комнату, в которой когда-то были в гостях и пили чай из сушеных яблок. Какой-то кран с того же этажа испускал воду, а полка с книгами раскачивалась не переставая. Книги одна за другой слетали куда-то вглубь и, трепеща на лету страницами, как птицы крыльями, спускались в пепел среди развалин.

— Ты можешь прочитать, какая это книжка падает? — спросила она.

К этому дню на полке осталась одна-единственная книга. Они ждали, пока она упадет, но книга только раскачивалась. Тогда он поднял камень и вместо ответа сшиб с полки эту последнюю книгу, как воровья снежком.

— Ты не любишь читать, — заметила она.

— Книги — это ум в картинках, — отпарировал он и удивился, услышав ее ответ: «Ты любишь не читать, а рассказывать. Умеешь молчать. А вот петь не умеешь».



На улице недалеко от кладбища Святого Николая, в маленькой закуской, чаще сменявшей вывески, чем клиентов, которые называли ее по привычке «В кредит», у него прорезались первые усы. Владелец имел обыкновение осенью поить своих гостей прозябшим вином. Как только начинала топиться печь, за лето наполнившаяся окурками, здесь открывали игру в лото. Однажды вечером, когда Афанасий впервые решил попробовать счастья в игре, в зал вошла девушка с очень черными сросшимися бровями, похожими на гребенку, — они словно были рассечены несколько раз по вертикали. Она стрельнула в него глазами, как в редкую дичь, и уселась, повернув к нему затылок со спутанными, вспотевшими волосами. Он

заполнял свой листок для лото, прислушиваясь к таянию странной тишины, на минуту наступившей в зале с приходом этой особы, и наблюдал, как она засыпает на стуле и как во сне становится все моложе, как откуда-то со дна, откуда ведут счет ее годы, всплывает улыбка ее семнадцатой осени. Не отрывая взгляда от ее влажного затылка, он услышал, что выигрывает в лото, и понял, что он выигрывает. Он понял, что выиграет эту девицу, которая спала, сидя нога на ногу, и улыбалась во сне, не выпуская изо рта изжеванной сигареты. Предпринимать что-либо было уже поздно. Выкликнули его цифру, и он выиграл в лото свою первую женщину. Он вывел ее на улицу, еще не проснувшуюся, вывел прямо на грязный и смрадный ветер. Когда они расставались при том же ветре, уже занималась заря. Она взглянула на него впервые при свете дня и сказала следующее:

— Я тебя вижу насквозь. Про таких говорят: «Вино не любит, да и воду мучит». Ты веришь, что будущее нарождается ночью, а не днем, и боишься рассветов... Хочешь, скажу, что ты сделаешь, как только мы расстанемся? Пойдешь прямехонько к шлагбауму, на рыбный рынок, покупать фаршированный перец с творогом, долго будешь выбирать рыбу, чтоб была из той реки, что течет с юга на север. Такая рыба вкуснее. Дома небось держишь свою посуду отдельно от прочей, да еще и моешь сам. Сам себе готовишь и ешь отдельно, потому что домашним твоя еда не по нутру. Когда обедаешь, ешь так, что за ушами трещит. Хорошо готовишь, режешь все подогретым ножом, как заправский повар. Знаешь даже то, что стерлядь, еще живую, надо напоить вином, тогда она жареная будет душистее. Суп ты любишь варить с сельдереем, такой тяжелый, что тарелку с места не сдвинешь. А уж если забредешь в трактир — конечно, ни своей компании, ни постоянного официанта. Усядешься за стол один и жрешь в три гор-

ла. А потом в такт музыке начнешь стучать по столу ногтями — будто вшей давишь. С тобой не разгуляешься. Цирюльники и кельнеры таких клиентов на дух не переносят...



Все тогда набросились на языки, как недавно обретшие дар речи на санскрит, — будто речь шла о жизни и смерти. С утра, до начала занятий в школе, зубрили французские неправильные глаголы из брошюр Клода Оже, продававшихся перед войной на улице Князя Михаила, 19, в книжном магазине «Анри Субр», где было представительство фирмы «Аметт». Вечером в затемненных комнатах изучали английское правописание по красным учебникам «Berlitz». Немецкие падежи учили в школе по желтым шмауссовским изданиям. Ночью же, тайком, запоминали русские слова из старых предвоенных эмигрантских газет, которые выписывали во множестве жившие в Белграде беглецы из России. Эти уроки военного времени были дешевы, но небезопасны, потому что ни преподавать, ни учить английский и русский языки во время немецкой оккупации не разрешалось. Афанасий и его товарищи учили их тайком друг от друга, порой у одних и тех же преподавателей. В течение нескольких лет никто из них не произнес на этих языках ни единого слова: все притворялись, что на них не говорят и не понимают. И только после войны открылось, подобно тому, как вдруг становится явным нечто постыдное, что, оказывается, все их поколение, в сущности, говорит по-английски, и по-русски, и по-французски. Когда же вскоре эти языки стали снова забывать, их забывали демонстративно, ностальгически вздыхая о тех временах, когда их тайно учили. Французский преподавали толстые швейцарки — «сербские вдовы», — посылав-



шие в конвертах ученикам в качестве новогодних поздравлений отпечатки своих накрашенных губ.

На уроки русского языка потихоньку бегали к бывшим белым офицерам, к эмигрантам с Украины. У них были красивые жены, они держали собак и носили жесткие усы. На стенах у них висели, как огромные летучие мыши, бурки со специально вделанной рамой над плечами, чтобы рука с саблей могла свободно двигаться — их рука, теперь этой сабли лишённая. Такие учителя обычно любили петь под балалайку, успевая глотнуть водки между двумя словами так стремительно, что на песне это вообще не отражалось. Но ни Афанасий, ни его товарищи музыкой не интересовались — она им мешала разбирать слова, и они торопились вернуться к занятиям языком, что их уже само по себе опьяняло.

— Слова на людях растут, как волосы, — любил ему повторять учитель русского языка. — Слова, как и волосы, могут быть черными или каштановыми и даже втайне рыжими — красными. Но рано или поздно они побелеют, как волосы у меня и у моих ровесников. Со словами можно делать что хочешь, но и они с тобой поступают как хотят...

Жена русского эмигранта, который так говорил, сохраняла в шелковом чулке пряди волос, которые успела остричь с тех пор, как уехала из России. Отрезав очередную прядь, она завязывала на чулке узелок. Так она измеряла время. Со дня отъезда она не смотрела в календарь и обычно не имела понятия ни какое сегодня число, ни какой день недели.

Однажды, придя на урок, он застал ее дома одну. По-сербски она вообще не говорила. Глядя на него своими прекрасными глазами, она покусывала пуговку на платье и посвистывала в нее.

— Как странно, что ты и твои ровесники учите столько языков, — сказала она ему по-русски, — и охо-

та тебе утруждать себя? Точно всю жизнь без куска хлеба сидеть собираешься. Все вы, наверное, очень одиноки, вот и хотите состарить свою память. Только память у нас не круглая, в крайнем случае это круг с большими зазорами. Ваша память не вся одного возраста. Вы надеетесь, что знание языков свяжет вас со всем миром. Но людей связывает вовсе не знание языков; вы их будете дважды учить всуе и дважды забывать, как Адам. Чтобы понять друг друга, надо друг с другом переспать. — И она предложила преподавать ему урок русского языка по-своему.

«Так вот где зарыта собака», — подумал он.

Она подошла к нему совсем близко и молча, глядя ему в глаза зелеными очами, обвила его шею своими косами. Она затягивала косы узлом все туже и туже у него на затылке, пока их губы не соприкоснулись. Прижимая его губы к своим, она заставляла его повторять одно и то же русское слово. Такой у нее был немой контактный способ изучения иностранных языков. Потом она подтолкнула его к кровати и уселась на него верхом. Так он впервые узнал, как это делается по-русски. Было непонятно, но прекрасно. На улице шел снег, словно небо засыпало землю беззвучными белыми словами, и все происходило так, словно и она опускалась на него вместе со снегом с бескрайней вышины, все время в одном и том же направлении, ни на секунду не отрываясь, как снег или слово, которые не могут вернуться обратно на небо, в чистоту.

— Вот видишь, — сказала она ему потом, втягивая в себя воздух сквозь распущенные волосы, — для того, чтобы понять друг друга, язык вообще не нужен, вполне достаточно переспать. Но заметь: после блуда первый день живется хорошо, а потом с каждым днем все хуже и хуже, пока наконец не очнешься и не станешь таким же, как все прочие достойные граждане.



У этой красавицы улыбка была такая неглубокая, что если она смеялась, то собеседник просто натыкался на ее нос, как на мель. Когда она его поцеловала, он подумал, что это — один из тех поцелуев, которыми обмениваются участники поединка, прежде чем обнажить сабли.

Он на минутку выпустил весла и позволил воде крутить их по ветру. Лодка кружилась, и ветер потихоньку укладывал ее волосы вдоль шеи. В лодке с ними были щенок и газета. Она прочитала в газете гороскоп своего щенка. Потом потянула дым из трубки, которую курил Афанасий.

— Обрати внимание, — сказала она, — как почувствуешь горечь во рту, непременно увидишь слева что-нибудь красное!

В эту минуту кончик ее волос попал в трубку, и искорка зашипела на золотистой пряди. Они легли на дно, и лодка стала их укачивать, все глубже загоняя его в нее.

«Какая ленивая, — подумал он, — ей даже любить лень». Ему показалось, что это ее манера заниматься любовью. И тут она вдруг сказала:

— Ты что, хочешь, чтобы волна вместо тебя сделала ребенка?..



В ту осень исполнялась еще одна седмица его лет, наступал еще один воскресный год, в который он обычно ничего не делал. Усталый и разочарованный, удалившийся от своей профессии, он с трудом уразумел, что и у лет тоже бывают свои циклы, свои дни рождений, свои регулы и что истекает еще одно семилетие его жизни, потому что семь лет назад он точно так же

ничего не делал. От самой даты сотворения мира по-прежнему отсчитывались невралгические точки — седьмые годы, — что-то вроде пупков на времени. Такими точками одно время отделяется от другого времени узлом, а узел перекрывает питание последующего времени за счет предыдущего. Той осенью он высчитал, что уже три года без всяких видимых причин хранит верность своей жене, которая почти все это время с ним не спала. Он сидел дома, совершенно никому не нужный, считал ворон и изнывал от тоски, когда швейцарский архитектурный журнал, издававшийся по-немецки, вдруг ни с того ни с сего в нескольких номерах стал печатать информацию о его проектах так никогда и не построенных медицинских учреждений. Не удосуживаясь стряхнуть крошки с усов после еды и расчесывая бороду пятерней, он продирался через страницы «*Fachblatt für Arhitektur DBZ*», где была опубликована его статья о связях современного строительства со старинной городской архитектурой византийского региона. Он вертелся как бес перед заутренней, пытаюсь узнать собственный текст. Тогда-то его впервые и прошиб жуткий мужской лохматый пот, от которого комары дохнут, полотенца плесневеют, а кошки исходят беззвучным истошным мявом. Он почувствовал, что его профессиональные данные тают, что они зарастают, как рана, отступают, как болезнь при выздоровлении.

Он подумал о том, что ему уже столько лет, сколько фраз в какой-нибудь новелле, испугался и начал крутить адюльтеры, такие короткие, что начало и конец их соприкасались.

Эта взяла его за руку, раскрыла ладонь и заговорила, точно издалека:

— У основания твоей кисти — а там надо нажимать, если заболит кое-что, что сейчас у меня внутри находится, — там на твоей руке площадь Славия. Между



большим и указательным пальцем течет река Сава — тут лечатся боли в шее. Указательный палец соответствует улице Князя Михаила — здесь нервы и простуда. Средний палец — улица Йована, что ведет до башни Небойши. Если на него нажать, утихают боли в синусах, помогает от заложенного носа. В основании указательного пальца, где жилка бьется — площадь Теразие, — находится точка, которая отвечает за желудок. Безымянный палец ведет к мосту через Дунай, он отвечает за органы слуха, а мизинец — Таковска улица — за боли в плечах и в аппендиксе. Твоя линия жизни идет через Савский мост и здесь не то прерывается, не то ведет далеко на север. Запомни! Если заболит ухо, перейди по мосту через Дунай — сразу пройдет. Плечо занот — пройди по Таковской улице, и сразу перестанет... Но дело не только в болезнях. У каждой городской улицы — свой курс, как у корабля. Одни плывут за своим созвездием под знаком Рака на юг, другие — на восток, под Водолеем, третьи следуют за созвездием Близнецов... Твое тело подчинено улицам, а улицы — звездам. На ладони можно разглядеть все твои дороги и на суше, и на море. Но не город у тебя в горсти, а ты зажат в горсти этого города. Ты к нему привязан, как кошка к дому, и больше ничего не видишь. Ни весны, ни осени без него не прожил, по другой земле не прошелся. Ты не в силах оторваться от этого города. Так иногда женщина живет всю жизнь с одним мужчиной, не спрашивая, нравится ему это или нет.



Он клевал носом над тарелкой молочного супа с укропом и, разглядывая ложку через пар, размышлял, от кого, собственно, у него сын — от Витачи Милут или от его законной жены Степаниды Джураше-

вич, по мужу Свилар. В ту ночь, когда он сделал своего сына, дело обстояло следующим образом. Тогда он был ловок, недаром говорили, что все у него в руках спорится. Дурная голова ногам покоя не давала, зато ушами не хлопал, но улыбка уже канула, как камень в воду, и кругов не оставила. Ел за обе щеки, карманы набивал огрызками ногтей и кончиками усов. В те годы он часто захаживал со своей молодой женой Степанидой поужинать слоеным ореховым пирогом на Калемегдан, в ресторан «Терраса». Там-то к ним и подошел однажды Мркша Похвалич, у которого лицо было такое узкое, что он мог сразу ухватиться за оба уха одной ладонью. Он им представил свою невесту, Витачу Милут.

— Перейдем на «ты»? — спросил новую знакомую Афанасий Свилар. Она отпарировала: «Если не далеко, почему бы и нет...»

В Витачу Милут он влюбился с первого взгляда. Она послала ему и его жене воздушный поцелуй рукой в перчатке, на которой был вышит рисунок ее губ. Они стали встречаться вшестером: Афанасий со своей женой Степанидой, Мркша Похвалич с Витачей и еще одна пара — их общие знакомые.

В тот вечер, когда он сделал своего сына Николу, весь парк Малый Калемегдан был залит лунным светом, на который с темноты входили точно в комнату. Проходя под воротами деспота Стефана, кто-то сказал: «Звезды пляшут. Это к холоду!»

В это время его жена Степанида Джурашевич, по мужу Свилар, задержалась, разговаривая со своей спутницей, и он на минуту остался наедине с Витачей Милут, чей жених шел немного впереди, разговаривая с третьим приятелем. В темноте глубокого тоннеля, где с одной стороны слышно, как течет Сава, а с другой — Дунай, Афанасий неожиданно поцеловал Витачу Милут.

«Поцелуй не дороже слезы», — подумал он, но понял, что ошибся. За ужином Витача предусмотрительно набрала в рот вина и хранила его до этого мгновения. Обнявшись, они вместе с поцелуем допили этот глоток.

— Я следила за тем, что ты ешь, — шепнула она ему под язык, — и нарочно ела совсем другое: чтобы делать деток, надо есть разные блюда.

Он ощутил, как Витача пересчитывает его зубы своим языком, и понял, что она будет совсем не против, если все обнаружится, и даже готова бросить своего жениха хоть сейчас, не уходя из парка. Ее верхняя губка оказалась солоноватой от страха, нижняя — горьковатой, а сердце стучало, как у воришки. Ее ресницы царапали его щеку, бедро уперлось ему в живот. Афанасий выбрался из ворот деспота Стефана совершенно очумелым, и, как только они снова разбились на парочки, он, не успев стереть слюну Витачи Милут и возбужденный ею, тут же, в парке, сделал ребенка своей жене Степаниде с такой страстью, что сам до сих пор не мог разобраться, которой же из этих двух женщин принадлежит его сын.

Наутро, когда он осознал, что после того вечера не сможет забыть Витачу Милут, было уже поздно. Он кинулся к ней, но нашел ее в чужой постели. Накануне она впервые осталась ночевать у своего жениха, а потом переселилась к нему.

Так остался Афанасий со своей женой. И теперь перед ним сидел его сын Никола Свилар, украшенный волосами, похожими на белые перышки. В свои шестнадцать лет он тянулся так, точно черпал из тарелки дни и ночи вместо похлебки. Отец вот уже в который раз пытался определить, не проявится ли в мальчике нечто подтверждающее его двойное происхождение. «Если бы дети носили фамилию по матери, — спрашивал себя Афанасий, — какую фамилию должен тогда но-

сать его сын — Степаниды Джурашевич, в замужестве Свилар, или своей „первой мамы“ — Витачи Милут?» Но пока Никола не выказал ничего такого, что можно было бы связать с Витачей Милут или с ее именем.

Свилар по-прежнему иногда встречался с Витачей Милут и с ее мужем, любовался ее манерой пить, впиваясь зубами в бокал, но ни разу не встретил с ее стороны ни малейших знаков расположения. Только однажды, когда они ненадолго остались одни, она, поплювив палец, пригладила бровки его сына Николы, тогда еще совсем малыша, и произнесла следующее:

— Женщины делятся на тех, кто любит только сыновей, и тех, кто любит только мужа. Женщина сразу чувствует мужчину, для которого женские губы все равно что наусники. Все женщины стремятся к одним и тем же мужикам и одних и тех же избегают. Одних любят трижды — как сыновей, как мужей и как отцов, а других, кого мать не любила, не полюбит ни жена, ни дочь. Это — как у голубей, которые едят и пакостят одновременно... Уж сколько веков большая часть американских мужчин теряет невинность с негритянками, а в Европе, особенно в юго-восточной части, принято с цыганами грешить. Благослови, Господи, цыганок и негритянок. Ведь это доброе дело — уделить немного женской ласки мальчишке, которому любовь нужна как хлеб. С ними теряют невинность те, кого не любили и не будут любить. Мужчины твоего типа обычно хранят верность своим нелюбимым женам. Только ведь и жены вас не любят. Таким мужчинам остается одно — вечно искать свою деву...



Афанасий Свилар расставил на плане Белграда свои пометки. Ему показалось, что из полученной диаграммы дорогих его сердцу мест проглядывает какая-то



формула, что-то вроде ответа на его недоуменные вопросы. Будь ему дано чуть больше времени, пусть даже один день, и он бы улучшил случай заглянуть в свои архитектурные проекты и увидел бы, что его планы говорят то же самое, что и его женщины. Он бы понял, что ключевые слова диаграммы гласят: *молчание, ночь, язык, отдельное питание, вода, город и дева*. Что эти слова дают некое уравнение его судьбы. Но этого не случилось.

В это время по улицам полетел шелк платанов, где-то далеко на Дунае заколосилась дикая рожь, посыпались острые семена бурьяна, с резким запахом зацвели «медвежьи ушки», и Свилару стало плохо.

Под золотистой поверхностью уже появившегося загара залегла лунным светом глубокая и постоянная бледность. Приглашенный доктор констатировал очередной приступ сенной лихорадки, обычный для весеннего времени, и, как и раньше, посоветовал уехать на море.

Несостоявшийся архитектор Афанасий Свиляр и его сын Никола быстренько собрали свои пожитки, кинули в карман щепоть соли и снарядились в дорогу.

Дорога, как и все дороги, думала за них, прежде чем они успели на нее ступить.